

МОЛЧАНИЕ И КРИК

(Человек и культура в перспективе Аушвица)

Рассмотрение человека и культуры в перспективе будущего, его предсказуемости и управляемости, возможно не только в позитивном смысле, но – и в наше время такой взгляд представляется наиболее важным и необходимым – в негативном смысле, как обращение к тому, что человек и человечество стремятся избежать. В этом случае речь идет не о желаемых перспективах развития, не о социальных идеалах, но о том, что человек и человечество хотело бы отменить, изничтожить не в будущем, которого еще нет, а в самих себе – саму способность совершить то, что сами мы не можем санкционировать. И если по вопросу о желаемом будущем пока не наблюдается не только согласия, но и наличия сколько-нибудь вдохновляющих идей, то в отношении негативной идеи можно допустить некую определенность: она была сформулирована Т. Адорно как новый категорический императив – мыслить и поступать так, чтобы Аушвиц не повторился. Аушвиц и есть тот устрашающий негативный образ будущего: именно будущего – в силу того, что все, что привело к нему, все те силы цивилизации и культуры, которые привели к нему, сохраняются и по-прежнему составляют облик современного мира. Что значит тогда мыслить и поступать так, чтобы это не повторилось? Идет ли речь о преобразении социального мира или о том, чтобы человек поступал как моральное, а не социальное существо? И как возможно мыслить сам Аушвиц и говорить о нем?

В докладе я бы хотела обратиться именно к последней, но исходной проблеме человека и культуры в перспективе Аушвица: речь идет о возможности говорения о ней. Одна из первых очевидностей, с которыми столкнулись мыслители «после Аушвица», заключалась в том, что о нем невозможно и недопустимо говорить способами научного описания и анализа, языком права и каким-либо иным языком культуры. Речь идет о радикальном зле, которое невозможно и недопустимо вписывать в пространство

человеческого, а именно это и делает язык культуры (если даже оставить в стороне то, что сам язык культуры полностью дискредитировал себя соучастием в Аушвице). Это зло принадлежит к тому, о чем невозможно рассуждение (укорененное и укореняющее в описательном и ценностном мире человека), но что можно лишь отрицать – определяя как то, чего не должно быть в человеческом мире (иной путь заключался бы в признании себя как неодолимо укорененного в этом зле, а значит тоже лишенного человеческого языка, если не рассматривать сам этот язык как средство убийства).

С самых первых попыток отнестись к Аушвицу (в философии, праве, морали) он стал предметом, о котором невозможно говорить и о котором невозможно не говорить. Так сформировались два полюса неговорения, находящиеся за пределами рассудительности – молчание и крик. Это два крайних способа вербально отнестись к событию человеческой жизни- истории, формирующие два полюса культуры. Эти полюса сходятся в единой точке – в которой невозможно говорить о том, о чем надо кричать. Известно высказывание Л. Витгенштейна, что о боге и морали можно только молчать, об абсолюте следует молчать хотя бы в силу того, что он не схватывается в слове, не имеет определений. Но когда человечество сталкивается с радикальным злом, которое невыразимо в словах, не может рассматриваться в качестве факта-примера, которое выпадает из пространства человеческого в полном смысле, так что у культуры нет и не может быть средств описания его и выражения отношения к нему, то остается одно – крик отрицания: этого не должно быть в абсолютном смысле. Отказ в праве на бытие, отказ в каких-либо основаниях быть – единственный способ говорения о радикальном зле. И он как раз и воплощается в молчании и крике: молчании как утверждении невыразимости в чем-либо человеческом, в первую очередь – в языке, и крике как предельном отрицании. Под криком я понимаю некое предельное высказывание, отказывающееся разворачиваться в рассуждение и не вытекающее из него. Оно сводится к отвержению, отторжению некоего явления

как предмета рационального рассмотрения, аргументированного дискурса: таково утверждение - этого не должно быть в абсолютном смысле до и вне моих человеческих решений. Разумное рассуждение об Аушвице невозможно, оно означало бы включение его в пространство человеческого, того, что можно помыслить как человеческое, и возвращение на путь к Аушвицу, а не от него. Рассмотрение его как факта означает утверждение его в бытии: для морального взгляда это то, чего не должно быть никогда, ни при каких обстоятельствах.

Что есть молчание и крик в философии – отдельная тема. Возможно, к ней можно подойти через попытки неговорящего говорения в искусстве, например – в кино. Количество фильмов, посвященных Аушвицу, без преувеличения можно признать огромным и ежегодно увеличивающимся. Очевидным является потребность осмыслить произошедшее и что-то сделать с ним. Но если отсеять откровенно спекулятивные, повествовательные, идеологически заказные, если отсеять те, которые внутреннее чувство отвергает как недопустимые и которые отнесены к так называемой «индустрии Холокоста» – таких фильмов останется не столь много. Уже классическим признается фильм 2016 года «Аустерлиц» Сергея Лозницы. Это документальный фильм, – современные люди, много людей. Они бродят по Аушвицу. Они делают селфи и снимаются на фоне печей. Это символ нашей жизни, мы все делаем это. То есть в том единственном месте, где они соприкасаются с радикальным злом, которое называют, хотят назвать нечеловеческим, выпадающим из человеческого, люди ведут себя обычным образом, большинство людей. Если принять утверждение, что Аушвиц не исчез, не растворился в прошлом, но есть определение современной цивилизации и ее перспектив, то все мы живем внутри него, делая селфи на фоне газовых камер, пользуясь тем, что привело к нему и соучаствовало в нем: лекарствами, достижениями генетики, идеями, судебной системой, всем социальным устройством. Название фильма обозначает переключку с романом В.Г. Зебальда, герой которого Жак Аустерлиц сталкивается с чувством вины за исторические события, в которых он не

принимал участие. Действительно, видение события в моральном пространстве возможно только в качестве собственного поступка, так как исключительно в таком качестве мир дан человеку как моральному существу и задан им. То есть моральное отношение к Аушвицу возможно только как к собственному поступку, как к тому, за что Я несу ответственность. Но что может человек сказать о себе как моральном существе? Ничего – ведь в морали он есть абсолютное, а потому бескачественное, неопределимое начало. Что он может сказать о своем поступке, если смысл его не дан самому поступающему, что было известно еще в античности? Он может лишь утвердить свою ответственность – свое авторство, поставить подпись: возможно это будет первым и последним актом говорения.

С. Лозница молча наблюдает за посетителями бывших нацистских лагерей. Они перед лицом невыносимого и непроговариваемого зла продолжают жить совершенно обычной жизнью, заботясь о своих фотографиях, о бутербродах и туалете. Их ответ не видим, неуловим для наблюдателя. Это форма молчания, переходящая в истерику, в крик дочери в фильме «Пицца в Освенциме», обращенный к отцу, пережившему Аушвиц: радуйся, что мы не понимаем тебя! Что мы не пережили это! Возможно, криком является совершенно иной фильм – «Сын Саула»: весь он состоит из мятущегося движения в самом пекле Аушвица, он есть уже не взгляд молчащего наблюдателя, но тяжелое дыхание того, кто внутри, кто своими движениями реализует механизм уничтожения – это взгляд Саула, члена зондеркоманды. Его прерывистое дыхание бегущего в сыром полумраке от газовой камеры к печам – это некая предельная попытка видеть ад глазами находящегося в нем, таков этот фильм. Так выглядят две, возможно, лучшие попытки сказать об Аушвице. Обе они лишены слов.

В своей рецензии на «Ночь и туман» (знаменитый документальный фильм-свидетельство 1955 года) Франсуа Трюффо писал, что о нем невозможно говорить в терминах кинокритики. А Клод Ланцман сказал (о «Списке Шиндлера» С. Спилберга): «Холокост уникален тем, что вокруг него

существует огненное кольцо, граница, через которую нельзя переступить, ибо абсолютная мера жестокости непередаваема; тот, кто делает это, повинен в наихудшем нарушении границ дозволенного. Вымысел и является таким нарушением, поэтому я глубоко убежден, что любое отображение Холокоста запрещено»¹.

Выжившие после Аушвица не могли не говорить о нем, но, начав говорить, теряли сознание (как это было со свидетелями на суде над Эйхманом), кончали жизнь самоубийством (как Примо Леви и многие другие), не желали иметь детей и продолжать человеческий род (как мой знакомый Джерри, бывший в Аушвице восемь месяцев). Эли Визель, ставший Нобелевским лауреатом именно за тексты о Холокосте, писал, что «Аушвиц не может быть ни объяснен, ни визуализирован ... Холокост трансцендирует историю». По А. Ассман, травматизация и табуизирование привели к тому, что не только преступники, но и жертвы не хотели воспоминаний о Холокосте. Дан Бар-Он говорит о «двойной стене молчания»: когда жертвы решаются говорить, они сталкиваются со второй стеной молчания, с помощью которой общество защищает себя от травмы. Общество принуждает к молчанию – это факт истории большинства стран. Возникает идея «коммуникативного замалчивания» – молчание позиционировалось как условие возвращения к нормальной жизни. Для Х. Люббе это молчание – продуктивная социальная среда, для Х. Арндт – тотальное сообщничество преступников и общества. Нацистские преступники мечутся между необходимостью сокрытия, секретности, забвения и желанием славы и признания (таковы речи Гимmlера), жертвы зажаты между невозможностью говорить и необходимостью свидетельствовать и не повторить. Так и те, и другие оказываются между молчанием и криком. Только с 80-х годов «коммуникативное замалчивание» стало «соучастным замалчиванием» (А. Ассман), а дети жертв и преступников

¹ Цит. по: Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. URL: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9637770

оказались в ситуации ответственности за происходящее в слитости прошлого и будущего. Символом эпохи свидетельства стал фильм К. Ланцмана «Шоа» – исключительно речь узников и тех, кто способствовал их гибели, только рассказы, иногда переходящие в молчание, в отказ от говорения узников и разговорчивость преступников.

То, что делает противоположными два молчания: молчание от невозможности говорить и замалчивание общества – это тот крик, который скрыт в первом и которого нет во втором. Содержание его – отказ Аушвицу в праве быть, в возможности быть мыслимым, описываемым и повторяемым.

Для «философии после Аушвица» исходной стала проблема возможности говорения: анализируя существующие ответы, Майкл Ротберг², выделяет реалистическое направление (Х. Арндт, З. Бауман) и антиреалистическую тенденцию (Э. Визель, К. Ланцман, А. Коэн, Ж.-П. Лиотар). Артур Коэн вводит понятие цезуры (паузы) Холокоста – паузы, связанной с тем, что мышление и лагерь смерти несоизмеримы.

Моральная философия также оказывается между молчанием и криком: ведь речь не может идти о логических умозаключениях, но исключительно о том, что схватывается умом во всей полноте и окончательности – и это абсолютное принятие того, что возможность или невозможность убийства не должна и не может быть выводом разума, но абсолютный запрет на убийство есть то, что предшествует ему в качестве его основания. Это значит, что говорение, рассуждение и описание Аушвица возможно лишь как полное моральное отрицание его права быть. Отказ от фактологического говорения и крик абсолютного отрицания задают те границы, внутри которых снова возникает возможность человеческой речи, возможность культуры и мышления. Границы, в которых идея человека, оставаясь пугающей и рождающей стыд, сохраняет некую надежду.

² See: Rothberg M. Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation. Minneapolis:University of Minnesota Press, 2000. P.7.